

ГЛАВА 1

Кит

Моя сестра почти пятнадцать лет считалась умершей, и вдруг я увидела ее в теленовостях.

В тот день я шесть часов кряду работала в отделении неотложной помощи, сортируя раненую молодежь, что пострадала в драке на пляжной вечеринке. Два огнестрельных ранения, в одном случае пуля задела почку; сломанная скула, перелом запястья; множественные лицевые травмы разной степени тяжести.

И это только у девушек.

К тому времени, когда мы со всеми разобрались, я «заштопала» и утешила тех, кому более или менее повезло; неудачливых бедолаг отправили на операционные столы или поместили в палаты. После я удалилась в комнату отдыха, где достала из холодильника напиток «Маунтин дью» — мой любимый источник сахара и кофеина.

По телевизору, что висел на стене, передавали репортаж о каком-то трагическом происшествии. Я с жадностью пила приторную газировку, рассеянно глядя на экран. Ночь. На заднем плане бушует огонь. Бегут, кричат люди. Взлохмаченный телерепортер в старомодной кожаной куртке что-то вещает надлежаче серьезным тоном.

И слева у него за спиной стоит моя сестра.

Джози.

Долгое мгновение она смотрит в камеру. За эту продолжительную секунду я успеваю понять, что зрение меня не обманывает. Те же прямые светлые волосы, только теперь подстриженные до плеч — в стиле «гладкий боб». Те же раскосые темные глаза и резко очерченные скулы. Те же полные губы, как у Анджелины Джоли. Ее красота — сочетание контрастов: темного и светлого, резких и плавных линий — всегда вызывала всеобщий восторг. В ней соединились в строгой пропорции черты наших родителей.

Джози.

Мне кажется, она глядит с экрана прямо на меня.

В следующую секунду она исчезает, а бедствие продолжается. Раскрыв рот, я тарашусь на пустое место, где она только что была. Держу перед собой на вытянутой руке «Маунтин дью», словно предлагаю тост.

За тебя, Джози, моя любимая сестренка.

Потом встряхиваюсь. Типичный случай. Такое бывает со всеми, кто потерял близких. Лицо в толпе на оживленной улице; девушка с походкой, как у нее. Обрадовавшись, что она все-таки жива, кидаешься за ней вдогонку...

Девушка оборачивается, и ты раздавлена. Не то лицо. Не те глаза. Не те губы.

Не Джози.

В тот первый год после ее смерти со мной это происходило сотни раз, наверно, еще и потому, что тело так не нашли. Это было невозможно, принимая во внимание обстоятельства ее гибели. Но и выжить она тоже никак бы не могла. Ее постигла не обычная смерть: она не погибла в огне во время автомобильной аварии, не спрыгнула с моста, хотя довольно часто грозила покончить с собой.

Нет, Джози испарилась в поезде где-то в Европе, который взорвали террористы. Растворилась, исчезла, сгинула.

Для этого и устраивают похороны. Нам отчаянно нужно знать правду. Мы должны собственными глазами увидеть лица тех, кого мы любили, даже если они обезображены. Иначе в их смерть слишком трудно поверить.

Я подношу к губам «Маунтин дью» и отпиваю большой глоток. Мы обе любили эту газировку, и она напоминает мне о том, что мы значили друг для друга. Я пью, убеждая себя, что принимаю желаемое за действительное.

* * *

В предрассветной тишине покидаю больницу. Состояние у меня нервное: я одновременно изнурена и взвинчена. Если хочу немного поспать перед следующей сменой, нужно выветрить из головы эту тяжелую ночь.

Живу я в маленьком коттедже на окраине не самого благополучного района Санта-Круза. Ненадолго заезжаю домой, где переодеваюсь в гидрокостюм и кормлю кота — худшего кота на свете. Вываливаю ему в миску полбанки влажного корма, пальцами разминаю крупные кусочки. Он мурлыканьем выражает благодарность, и я осторожно тяну его за хвост.

— Постарайся не описать ничего важного, ладно?

Бродяга моргает.

Я кладу в джип серфборд и еду на юг, не сознавая, что направляюсь к нашей бухте. Понимаю это лишь тогда, когда добираюсь до места. Я заезжаю за обочину, вдоль которой тянется расчищенная полоса, паркуюсь и смотрю на море. На рассвете там народу немного — всего несколько человек. В первых числах марта море на севере Калифорнии холодное — граду-

сов двенадцать, но волны ровным строем бегут до самого горизонта. Идеально.

Тропинка берет начало там, где некогда шла дорожка, ведущая к ресторану. Вырубленная в нескольких футах от скалы, где прежде находилась лестница, она зигзагом вьется вниз по крутому склону. Обычно по ней мы всегда спускались в уединенную укромную бухту. Кроме нас, этим спуском никто не пользовался. Сам склон постоянно осыпается: по поверьям местных жителей, он населен призраками. Сейчас спуск в полном моем распоряжении. Впрочем, с этими призраками я хорошо знакома.

На середине склона я останавливаюсь и, обернувшись, смотрю туда, где стояли наш дом, ресторан и знаменитая терраса, с которой открывался самый прекрасный вид на свете. Теперь оба здания лежат в руинах гниющих досок и обломков, рассеянных по холму. Большинство из них за долгие годы смыли штормы. Те, что остались, почернели от времени и морской воды.

В моем воображении эти здания высятся в своей призрачной красе: раскинувшийся «Эдем» с грандиозной террасой и над ним — наш маленький домик. С появлением Дилана мы с Джози стали жить в одной комнате, но ни она, ни я не возражали. Я вижу призраки нас всех из той поры, когда мы были счастливы: безумно влюбленные друг в друга родители; яркая, неутомимо энергичная сестра; Дилан с хвостиком на затылке, затянутым кожаным ремешком. Он все требовал, чтобы мы скорее спустились на берег и разложили там костер, на котором мы обычно жарили маршмэллоу и делали «сморы»*, а по-

* Смор (S'more, от англ. «some more» — «еще немного») — традиционный амер. десерт, который дети готовят на костре. Состоит из поджаренного маршмэллоу и плитки шоколада, зажатых между двумя крекерами. Впервые рецепт опубликован в 1927 г. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

КОГДА МЫ ВЕРИЛИ В РУСАЛОК

том пели. Дилан любил петь, у него был хороший голос. Мы всегда думали, что он станет рок-звездой. А он заявлял, что ему нужны только «Эдем», мы и наша бухта.

Себя я тоже представляю: семилетний сорванец на берегу под бело-голубым небом, ветер рвет во все стороны мои распущенные густые волосы.

Миллион лет назад.

Ресторан, которым владела наша семья, назывался «Эдем». Одновременно эксклюзивное и демократичное заведение, куда частенько заходили кинозвезды-хиппи и наркоторговцы, снабжавшие их дурью. Наши родители тоже принадлежали к тому миру — знаменитости каждый в своей сфере, обладавшие властью на своих собственных условиях. Отец — общительный приветливый шеф-повар с заразительным раскатыстым смехом и склонностью к излишествам. Мама — его вторая половинка, пленительная кокетка.

Мы с Джози носились, как собачата. Когда уставали, засыпали на берегу бухты, прямо на голой земле, и никому до нас не было дела. Согласно семейному преданию, мама, ослепительная красавица, однажды отправилась в ресторан на ужин с каким-то мужчиной и там с первого взгляда влюбилась в нашего отца. И вы, если бы знали его, в том бы не усомнились. Отец, обаятельный шеф-повар из Италии, человек исполинского телосложения, был колоссальной личностью. В ту пору людей его профессии называли просто поварами. Или рестораторами. Собственно, он и был ресторатором. Мама любила его до самозабвения, гораздо больше, чем нас. Он испытывал к ней пылающее сексуальное влечение, относился как к своей собственности, но любовь ли это? Не знаю.

Зато я знаю, как трудно быть детьми родителей, которые одержимы друг другом.

Как и мама с папой, Джози любила драматические эффекты. От отца ей досталась его харизма, от матери красота, хотя в ней это сочетание проявилось как нечто экстраординарное. Уникальное. Не счесть сколько людей, мужчин и женщин, ее рисовали, фотографировали, писали. Не счесть сколько людей в нее влюблялись. Я всегда думала, что она станет кинозвездой.

А она, подобно нашим родителям, превратила свою жизнь в одну сплошную губительную драму с таким же катастрофическим концом.

Бухта, разумеется, никуда не делась, а вот лестницы больше нет. Я натягиваю гидроботы, свои густые волосы заплетая в толстую косу. Небо на горизонте розовеет. Огибая камни, я гребу на лайн-ап*. Кроме меня здесь всего три человека. После нападения акул, случившегося несколько недель назад, ряды охотников до волн, даже самых мощных, существенно поредела.

А волны здесь огромные. Добрых девять футов высотой, с роскошными глянцевыми завитками — явление куда более редкое, чем многие думают. Я выплываю на позицию и жду своей очереди. Поймав волну, вскакиваю на ноги и еду прямо по гребню. Ради этого мгновения я живу. Ради мгновения, стирающего из сознания все остальное. В голове ни единой мысли. Только я, вода, небо, шум пенящихся бурунов. Шум моего собственного дыхания. Край доски скользит по воде. Лодыжки, даже в гидроботах, сковывает холод. Ледяной холод. Идеальный баланс. Меня пробирает дрожь, волосы хлещут по щеке.

* Лайн-ап — место, где серферы ждут волн.

С час, может, больше, я с samozабвением покоряю волны, забыв про все на свете. Небо, море, рассвет. Я растворяюсь. Нет ни меня, ни моего тела, ни времени, ни истории. Только доска под ногами, воздух, вода. Зависание на гребне волны ...

И вдруг все меняется.

Волна обрушивается так внезапно, так стремительно, так мощно. Меня швыряет в толщу воды и крутит, как в стиральной машине. Ревущие буруны мотают во все стороны тело, голову и доску, которая болтается слишком близко — того и гляди размозжит череп.

Я обмякаю и, задерживая дыхание, отдаюсь на волю пенящейся воды. Будешь сопротивляться — покалечишься. Погибнешь. Единственный способ выжить — вести себя пассивно. Несколько бесконечных мгновений мир бурлит, вращается, подпрыгивая вверх-вниз.

На этот раз я утону. Доска дергает за лодыжку, тащит меня в сторону. Водоросли оплетают руки, обвивают шею ...

Передо мной всплывает лицо Джози. Каким оно было пятнадцать лет назад. Каким я увидела его на экране телевизора накануне вечером.

Она жива.

Не знаю, как ей удалось выжить. Знаю только, что она жива.

Океан выплевывает меня на поверхность, и я втягиваю воздух в изголодавшиеся по кислороду легкие. Обессиленная, я возвращаюсь в бухту, ничком падаю на песок и с минуту отдыхаю. Со всех сторон звучат голоса моего детства. Мой собственный, Джози и Дилана. Вокруг нас носится, мокрый, вонючий и счастливый, нечистопородный черный ретривер — наш пес Уголек. Воздух полнится дымом, выплывающим из ресторана, где жарят и парят. Это дарит умиротворяющее ощущение того, что все возможно.

Я слышу тихую музыку, пробивающуюся сквозь давно забытый смех.

Я сажусь на песок, и звуки прошлого тотчас же умирают. Есть только обломки того, что было когда-то.

* * *

Одно из моих ранних воспоминаний — родители, слившиеся в страстных объятиях. Мне тогда было не больше трех-четырёх лет. Где они находились, не скажу, но помню, что мама прижималась к стене, блузка на ней была задрана, и руки отца мяти ее груди. Я видела ее кожу. Они целовались так жадно, что чем-то были похожи на животных. Я зачарованно смотрела на них секунду, две, три, пока мама не издала резкий звук. И тогда я закричала:

— Прекратите!

Эта картина всплывает в памяти часом позже, когда я сижу во двореике своего дома. После душа волосы у меня мокрые. Потягивая горячий ароматный кофе, я просматриваю заголовки на своем айпаде. Бродяга сидит рядом на столе, сверкая желтыми глазами и размахивая черным хвостом. Ему семь лет. Кот он дикий. Я нашла его на заднем крыльце своего дома, когда ему было пять-шесть месяцев. Весь побитый, он умирал с голоду, едва дышал. Теперь он выходит из дому, только если я с ним, и съедает все, что бы я ему ни положила. Я рассеянно глажу его по спинке, а он не сводит глаз с кустарников вдоль забора. Черная шерстка у него длинная и шелковистая. Он скрашивает мое одиночество.

Трагическое происшествие, о котором сообщалось в теле-новостях, произошло в Окленде. В ночном клубе случился пожар, унесший жизни нескольких десятков людей: одни были расплющены обрушившимся потолком, кто-то погиб в давке,

пытаюсь выбраться из горящего здания. Других подробностей нет. Я вывожу на экран разные фотографии с места трагедии, ища репортера, которого видела по телевизору минувшим вечером. Безрезультатно. Меня не покидает ощущение, что на меня мчится грохочущий поезд.

Откидываюсь в кресле, потягиваю кофе. Сквозь листву эвкалиптов пробиваются лучи яркого солнца Санта-Круза, расчерчивая узоры на моих ногах. Кожа у меня незагорелая, потому что я всегда либо в больнице, либо в гидрокостюме.

Это не Джози, убеждает меня голос разума.

Я выдвигаю клавиатуру, собираясь задать поиск по другому критерию... и останавливаю себя. После смерти сестры я месяцами прочесывала Интернет, ища подтверждение тому, что она выжила в катастрофе. И, как это часто бывает, статьи в большинстве своем пестрели домыслами, хоть ликвидаторы аварии и органы правопорядка этого не признают. Взрыв оказался таким мощным, что останки пассажиров поезда невозможно было идентифицировать. Дорогой тебе человек был там, но нигде не объявился. Все указывает на то, что она погибла.

За год не дававшая мне покоя потребность отыскать сестру постепенно ослабла, но у меня перехватывало в горле каждый раз, когда мне чудилось, что я увидела ее в толпе. Спустя два года я окончила ординатуру в городской больнице Сан-Франциско и вернулась в родной Санта-Круз. Устроилась на работу в отделение неотложной помощи и купила себе этот дом неподалеку от пляжа, что давало мне возможность присматривать за мамой и вести обыденное скромное существование. Мне всегда хотелось одного — мира, покоя, предсказуемости. Драмы в детстве мне хватило на всю жизнь.

У меня заурчало в животе.

— Пойдем, малыш, — говорю я Бродяге, — приготовим что-нибудь на завтрак.

Дом у меня маленький, в испанском стиле, в нем всего две комнаты. Стоит в местечке на окраине района, в который по ночам лучше не соваться. Но он мой, и до пляжа от него семь минут ходу. При заселении я заменила старые шкафы и бытовую технику, отремонтировала изумительное плиточное покрытие.

Я подумываю о том, чтобы напечь на завтрак блинов, и вдруг на рабочем столе звонит мой телефон.

— Привет, мама. — Я открываю холодильник. Хмм. Яиц нет. — Что стряслось?

— Кит, — произносит она и на секунду умолкает. Я тут же настораживаюсь. — Ты случайно не видела репортаж о пожаре в ночном клубе в Новой Зеландии?

У меня екает в животе, что-то ухаает, опускается до самой земли.

— А что?

— Понимаю, это глупо, но, клянусь, там промелькнула твоя сестра.

Прижимая телефон к уху, я смотрю в окно кухни на колышущиеся кроны эвкалиптов, на цветы, что я старательно высадила вдоль забора. Мой оазис.

Если б это была не мама, а кто-то другой, я не стала бы заморачиваться. Просто сбежала бы, отказываясь открывать эту особую дверь. Но ведь она так старалась. Шаг за шагом снова и снова проходила все ступени реабилитационной программы в группе анонимных алкоголиков. Она здесь, рядом — настоящая и печальная. Ради нее я делаю вдох и говорю:

— Я тоже видела.

— Неужели она жива?

КОГДА МЫ ВЕРИЛИ В РУСАЛОК

— Мама, скорее всего, это была не она. Давай не будем терять головы, не будем обольщаться, хорошо? — В животе снова урчит. — У тебя есть что-нибудь перекусить? Я до четырех была в больнице, и дома у меня шаром покати.

— Еще бы, — со свойственной ей насмешливостью в голосе отзывается она.

— Ха-ха. Если готова поджарить мне яичницу, я приду и обсужу это с тобой лично.

— В два мне нужно быть на работе, так что поторопись.

— Еще нет одиннадцати.

— Мм-хмм.

— Я без макияжа, — предупреждаю я. Мама всегда обращает на это внимание. Даже теперь.

— Да ради бога, — отвечает она, но я знаю, что ей не все равно.

* * *

До мамы от моего дома вполне можно дойти пешком. Собственно, потому я и приобрела для нее жилье в своем районе, но, чтобы она не волновалась, я еду к ней на машине. Квартиру маме я купила пару лет назад. Она немного обшарпанная, комнаты маленькие, но из окон гостиной открывается широкий обзор на Тихий океан. Шум водной стихии маму успокаивает. Мы с ней обе любим океан всей душой. Эта страсть глубоко укоренилась в нас. Голод, который ничем иным не утолить.

Взбираясь по наружной лестнице к ее квартире на втором этаже, я машинально бросаю взгляд на водную ширь, проверяю, есть ли волны. Сейчас океан спокоен. Серферов не видно, зато берег у кромки едва заметно колышущейся воды усеян ребятишками и их родителями.

Мама, углядев мой автомобиль, выходит встречать меня на террасу, украшенную горшечными растениями. На ней свежие хлопчатобумажные желтые капри и белый топ в полоску такого же солнечного цвета. Волосы — по-прежнему густые и здоровые, белокурые с проседью, как будто мелированные — собраны на голове в высокий пучок, как у молодой мамочки. Эта прическа ей идет, хотя на лице лежит печать жизненных невзгод и поклонения солнцу. Это неважно. Она стройна, длиннонога, с пышной грудью, а поразительные глаза не утратили лучистого блеска. Ей шестьдесят три, но в рассеянном свете своей простенькой террасы на верхнем этаже она выглядит не старше сорока.

— Вид у тебя усталый, — отмечает она, взмахом руки предлагая мне войти.

Всюду в комнатах уверенно цветут и зеленеют разнообразные домашние растения. Мамин конек — орхидеи. Из всех, кого я знаю, только у нее они цветут снова и снова. Дайте ей полсекунды, и она с ходу перечислит множество видов этого семейства, употребляя их латинские названия: *Cattleya*; ее любимый *Phalaenopsis*; нежная изящная *Laelia*.

— Ночь выдалась долгой. — Только я переступаю порог, в нос мне бьет аромат кофе, и я прямой наводкой иду к кофейнику. Наливаю кофе в кружку, что уже стоит под носиком, в ту самую, что мама приберегает для меня, — тяжелую зеленую кружку, с видом Гавайских островов. На столе уже лежат наготове яйца и измельченный перец.

— Садись, — живо говорит мама, надевая фартук. — Омлет устроит?

— Вполне. Спасибо.

— Открой мой ноутбук, — велит она, бросая кусок сливочного масла в тяжелую глубокую чугунную сковороду. — Я сохранила тот ролик.

Я выполняю указание, и вот он, репортаж, что я видела накануне вечером. Сумятица, крики, шум. Телерепортер в кожаной куртке. Лицо у него за плечом, глядящее прямо в камеру — целых три секунды. Одна... две... три. Я смотрю ролик, перематываю назад и снова смотрю, ведя отсчет. Три секунды. Если останавливаю ролик на кадре с ее лицом, лишний раз удостоверюсь, что ошибки быть не может.

— Так не бывает, чтобы какой-то другой человек был ее точной копией, до мелочей, — говорит мама, подходя ко мне и глядя на экран через мое плечо. — И имел точно такой шрам.

Я зажмуриваюсь, словно силясь избавиться от этой проблемы. Когда снова открываю глаза, она по-прежнему на экране, застыла во времени. От линии волос через бровь к виску тянется до боли знакомый неровный шрам. Просто чудо, что она не потеряла глаз.

— Не бывает, — соглашаюсь я. — Ты права.

— Ты должна найти ее, Кит.

— Полнейший абсурд, — возражаю я, хотя сама думаю о том же. — Как ты себе это представляешь? В Окленде миллионы людей.

— Ты сумеешь ее отыскать. Ты ее знаешь.

— И ты ее знаешь.

Качая головой, мама выпрямляет спину.

— Я никуда не езжу, как тебе хорошо известно.

— Ты не пьешь пятнадцать лет, — хмурюсь я. — Ты бы справилась.

— Нет, не могу. Придется тебе.

— Я не могу просто так взять и отправиться в Новую Зеландию. У меня работа, в больнице на меня рассчитывают, я не вправе их бросить. — Я убираю с лица волосы. — И как быть с Бродягой? — У меня щемит сердце. На работе-то я до-

говорюсь, ведь я не была в отпуске три года. А вот кот без меня сдохнет от тоски.

— Я поживу у тебя.

Я смотрю на маму.

— Переедешь ко мне или будешь приходить утром и вечером, чтобы его покормить?

— Перееду. — Мама ставит на стол тарелку с восхитительным горячим перченым омлетом. — Иди ешь.

Я встаю.

— Он наверняка будет все время прятаться.

— Ну и что? Зато будет знать, что он не один. А через пару деньков, глядишь, возьмет в привычку спать вместе со мной.

Запах лука и перца еще больше разжигает аппетит, и я бросаюсь на омлет подобно шестнадцатилетнему мальчишке, а в памяти мелькают картины прошлого. Мы с Джози маленькие, она склоняется надо мной, проверяя, не сплю ли я; ее длинные волосы щекочут мне шею. Я слышу ее залиvistый смех, представляю, как она играет с Угольком, швыряет палку, а он ее снова приносит. Сердце начинает ныть, и это не метафора: оно болит по-настоящему. Груз воспоминаний, тоски и гнева настолько тяжел, что я прекращаю жевать и, положив вилку, протяжно вздыхаю.

Мама сидит рядом, молчит. Я вспоминаю, какой у нее был голос, когда она сообщила мне о смерти Джози. Сейчас ее рука легонько дрожит. Видимо, стараясь это скрыть, она якобы как ни в чем не бывало — словно это самое обычное утро и жизнь течет как обычно — подносит ко рту чашку.

— Серфингом занималась?

Я киваю. Мы обе знаем, что именно так я снимаю напряжение. Примиряюсь с собой. С жизнью.

— Да. И это было здорово.

КОГДА МЫ ВЕРИЛИ В РУСАЛОК

Мама сидит на втором из двух стульев, что стоят у стола. Взгляд ее прикован к океану. На ее серьезных губах играет солнечный блик, и мне вдруг вспоминается, как она смеялась с моим отцом, широко открывая алый рот, как они кружились в танце на террасе «Эдема». Трезвая Сюзанна куда более приятное существо, чем Сюзанна пьяная, но порой я скучаю и по той — по ее неукротимой пылкости, экспансивности.

— Ладно, пойду, — говорю я, может быть, надеясь увидеть хотя бы тень той молодой женщины.

И на мгновение глаза ее загораются. Она берет меня за руку, и в кои-то веки я не отдергиваю ее, а, напротив, сжимаю ладонь матери в приступе великодушия.

— Обещаешь, что будешь жить у меня? — спрашиваю я.

Свободной рукой она чертит «X» на левой стороне груди и затем вскидывает ее, давая клятву:

— Обещаю.

— Тогда ладно. Улажу все формальности и сразу в путь. — Волна предвкушения и ужаса поднимается в груди, плещется в животе. — Матерь Божья! Вдруг она и вправду жива?

— Тогда я придушу ее собственными руками, — говорит Сюзанна.